



Худ. Харсекин И. И.

Михаил ГРЕШНОВ

РАССКАЗ

Когда тебе семнадцать лет, — кажется, стоишь у дороги, которая идет и идет куда-то вдаль, до самого горизонта. И за горизонтом она в таких же просторах, бесконечна, как жизнь, в которую ты, веришь и которую любишь. Тебя не страшит ее дальность: ты хоть и мало прожил, а знаешь, что каждый встречал на пути большую любовь и большое счастье, и ты встретишь все это, оно ждет тебя, оно будет. Будут испытания, неудачи, но что темного в неудачах, когда за плечами полный запас нерастроченных сил, а впереди — столько солнца и света!

Моя дорога начиналась не хуже, чем любая другая. Окончена школа ФЗУ, в руках — слесарное дело, в карманах — путевки: всем выпуском на работу в депо Глубокая. И в октябрьский морозный день с другом, Тимофеем Ярковым, мы прибыли к месту назначения.

Это был рабочий железнодорожный поселок, разросшийся там, где прежде была казачья станица. Две пары стальных полос стремительно вбегали в него с севера, две пары выскальзывали на юг, а в середине каждая полоса двоилась, троилась, разбегалась сетью блестящих рельсов. То были уже деповские, обводные, запасные пути; между ними вставали корпуса ремонтных зданий, котельная, чернели квадраты топливных складов, и где-то в конце поселка стальным плавником блеснул треугольник для разворота паровозов. Над всей территорией стояли угольные дымы, вскидывались паровозные крики, на тугих

крыльях, как птицы, улетающие в дальние степи.

Картина была знакомая: здесь проходили практику, сюда приехали на работу.

С квартирой разрешилось просто. Комнату нашли в двух шагах от депо, у Кадариных. Дом их, построенный еще руками старого машиниста Григория, лет пять как перешел в наследство старухе и ее дочери, Катерине, двадцатидвухлетней женщине, неудачно вышедшей замуж и теперь одинокой, жившей на скромный заработок телефонистки. Дом был просторный, стоял на углу, через улицу от вокзала.

Встретила нас Катерина:

— Это кухня, — говорила она, — здесь ваша комната, это зал, можете, заниматься, читать.

— А здесь? — спросили мы, видя из зала дверь.

— Здесь живет Лиза, — сказала Катерина.

— Какая Лиза?

Но расспросы были излишними. В сенцах послышался стук, вошла девушка. Увидя незнакомых парней, остановилась, глянула, будто осветила, серыми спокойными глазами.

— Эти двое ребят просятся на квартиру, — обратилась к ней Катерина. — Ты возражать не будешь?

— Я? Возражать? Пусть живут, пожалуйста!..

И, протянув нам руку, сказала:

— Лиза. Татьянченко.

Рука была крепкая, свежая, как она вся, с мороза; пожатие тоже крепкое; и взгляд и улыбка — все говорило о независимости и простоте.

— Катя!..— она стала рассказывать о том, что случилось на работе, но рассказывала не только Катерине, какую-то долю посвящала и нам, потому что мы тоже слушали и теперь, под одной, крышей, были все-таки не чужие.

Через полчаса разместились, растопили печь.

Лиза, как и мы с Тимофеем, из Каменска, год как переехала туда с семьей. Работает здесь в депо, расценщицей.

— Сижу и расцениваю...— говорит она.— И ваш заработок пойдет через мои руки.

Она невысока, и красавицей ее не назовешь. Хороши каштановые вьющиеся волосы и серые глаза, ясные, полные такого тепла, что оно передавалось нам и вызывало ощущение, как в детстве, когда проснешься, увидишь небо и солнце, и сердце дрогнет в предчувствии большого-большого счастья, хотя и не знаешь, почему и откуда это счастье придет.

Разговаривая, она смягчала «р», нет, не картавила: звук получался музыкальный, мелодичный, как лесная легкая трель; слушая, невольно отмечал слова с этим «р», они звучали легко, по-новому. И, казалось, хорошо начинается новая жизнь, и завтрашний день, пусть даже пасмурный, с морозом, не будет, не может быть холодным, потому что тепло ее глаз так и приживется, останется с нами...

В пять часов она заторопилась ехать домой и ушла, пожелав на завтра самого доброго.

А на следующий день для нас началась рабочая жизнь.

Наше звено крепило бандажи на паровозных окатах. Охватив колесо жестяным кожухом, включали форсунку. Пламя вилось дугой, форсунка шипела, сыпала искры; разговаривая, приходилось кричать, и я кричал во все горло. Вообще хотелось петь от радости и самому ходить вокруг колесом!..

В перерыв наша братва встретилась возле столовой; говорили шумно, спорили.

— А какая девушка с нами на квартире! — воскликнул я, желая, как и другие, похвастаться чем-нибудь замечательным.

Все были заинтересованы, ожидая рассказа, но что я мог сказать, если в душе, кроме восторга, ничего не ощущалось и слов на языке не было? Не объяснять же— вот такого роста, на таких каблучках!..

Лиза приехала вечером, к ночной смене.

— Ну, как, ребята, боевое крещение? В какую бригаду попали?

И мы, взволнованные первым рабочим днем, говорили, говорили, не в силах остановиться.

За окнами дальними фонарями светился вечер.

— Ой, ребята! — воскликнула она.— Заговорила я тут с вами.

Надела платок, ботики и ушла.

Каждое утро, в пять часов, над путями, над дымами вздымался деповский гудок. Падая с вышины, он катился по крышам, по улицам, зажигал огни, поднимал на работу, затем плыл в дали, в степь и шарахался там от кургана к кургану. Если над поселком гуляли ветры, они набрасывались на гудок, рвали его, тормозили, и тогда он сердился, ворчал, но упрямо тянул свое, не поддаваясь их озорству, пока не выкрикивал полностью свои пять минут.

Мы с Тимофеем, если смены совпадали, вскакивали, с постелей и, оплеснувшись водой, бежали на работу. Ветер дышал морозом, звенела под ногами промерзшая земля; чтобы согреться, мы подпрыгивали на бегу и размахивали руками. Утренний час — это время, когда из депо выкатывали паровозы и ставили на ремонт очередные; двери с двух сторон были открыты настежь; входя в одну, можно было видеть через противоположную небо и звезды и дальние огоньки стрелок; ветер швырял поземку в распахнутые створы; маневровый паровоз ходил, через все здание, пыхал трубой под крышу. Но вот, поставив паровозы, маневровый уходил, мы закрывали двери и разбирали наряды.

Работали семь часов, была у нас пятидневка: четыре рабочих, пятый—выходной. Часто ездил домой, в город. Ездил с Лизой.

Стояли рядом, смотрели в окно. Говорили немного: молчать было хорошо. Потом

проводил до крыльца — в другой конец города — и шел тихими-тихими улицами, бережно храня в душе ее взгляд, голос. И не потому ли поездки запомнились, как запоминаются с детства цвета радуги?..

Возвращались тоже вместе. Я приходил на вокзал рано, терпеливо ждал появления Лизы.

Иногда приносили что-нибудь приготовленное; дома, угощали друг друга. Если я...не брал, она насильно вталкивала в карманы и говорила:

— А то брошу — увидишь!

Это была маленькая забота. Она знала, что родителей у меня нет, ездил я к родственникам, которым мои поездки не приносили удовольствия... У нее тоже была неродная мать, и в семье, как я понимал, особой ласки не чувствовалось. Она часто ехала с тревогой в глазах, просила не провожать, о доме почти не рассказывала. Больше говорила о маленькой сестренке, Любе, и я, кажется, уже полюбил эту девочку, хотя никогда ее не видел. К себе она не приглашала, я не напрашивался, чувствуя неприязнь к ее дому, и постепенно начал связывать все хмурое и печальное в ее глазах с этим домом.

В марте начались экзамены по техминимуму, на которые специально приехал инженер из управления. Кроме него, за столом — бригадиры, начальник депо, вели разговор с пристрастием: было интересно похвастать перед приезжим, что ребята у нас не лаптем щи хлебают.

Досталось и на мою долю. Разобрав и собрав детали и немало походив с указкой возле чертежей, я считал, что пора бы сесть на место, когда мне был поставлен еще вопрос:

— Что вы знаете, — опросил инженер, — о силе тяги паровоза?

Вопрос был не из простых, комиссия насторожилась,

— Сила тяги? — переспросил я. — Она бывает трех видов: индикаторная, сила тяги на обод и на крюке...

— Поясните! — настаивал инженер.

— Индикаторная — это сила, с которой пар давит на поршни в цилиндрах паровоза; на обод — та же сила, но уже переданная через шатуны и кривошипы на обод колеса;

она будет меньше. Сила тяги на крюке — это фактическая сила, с которой паровоз тянет состав.

— Довольно, — сказали в комиссии, и начальник депо что-то отметил в своем блокноте.

За техминимум я получил грамоту и значок ЗОТ.

Вскоре прошел слух, что отличников будут посылать на учебу.

* * *

Однажды, апрельским вечером, Лиза приехала из дому. Я сидел за журналом «Техника — молодежи», перечитывал статью о расщеплении атома. Статья удивляла, поражала воображение. Когда стемнело, отодвинул журнал. В доме тишина, Лизы не слышно. «Уснула», — подумал я и прошел в зал:

— Лиза!

— Что, Митя? — отозвалась она.

— Спишь?

— Нет...

— Можно к тебе?

— Войди.

Она лежала на кровати, закинув руки за голову, глядела перед собой.

— Ты заболела?..

— Нет.

— А что же?

— Так...

Я сел на стул в ее ногах. В комнате густели сумерки. В окна заглядывал край гаснущего неба, расчеркнутого ветвями тополя, с набухшими, готовыми лопнуть почками; их аромат проникал сквозь открытую форточку, и казалось, весна стоит у изголовья девушки.

В полутьме нельзя было рассмотреть ее лица; лишь волосы оттеняли его да глаза темнели, как вечерние воды, и родилось чувство — если заглянешь в них, — увидишь такую глубь, которая потрясет и зачарует навек... И хотя это было страшно, как ребенку глянуть в колодец, все-таки заглянуть до жути хотелось... Только удерживала догадка, что глаза полны сейчас грусти, заботы.

— Что же с тобой?

Она помолчала, потом ответила:

— Ничего, Митя, не беспокойся. Это — так...

А мне хочется положить ей руку на волосы, ощутить теплоту виска, лба... Боясь, что не сдержу себя, говорю:

— Принести лампу?

— Не надо. Пойдем лучше к тебе.

Она встала, пошла за мной.

— Знаешь,— говорил я, чиркая спички, не в силах молчать,— если освободить атомную энергию простого камня, можно сдвинуть гору, прорыть в пустыне канал!..

— Это фантазия, Митя,— спокойно возразила она.

— Как фантазия? Это научная статья! Вот — гляди.

Стали просматривать статью, спорить. Она оживилась и опять была простой, веселой девушкой.

Когда, склонившись, рассматривали рисунки, читали, наши головы почти прикасались. Я чувствовал ее дыхание, голос, соловьиное «р» звучало рядом; это кружило голову, как в вальсе, когда, забыв все, отдаешься музыке. Свежие, яркие девичьи губы совсем близко; вдруг захотелось прильнуть к ним

в силах поднять глаз. Когда же поднял, увидел, что она смотрит удивленно, будто видит меня впервые; но удивление быстро сменилось чувством тревоги, казалось, она вспомнила о чем-то своем, близком и горьком.

Потом опустила глаза, спросила:

— Ты поедешь учиться?

Это было моей мечтой, я стал говорить, как хочу стать инженером, журналистом, видеть города, людей, машины. Она смотрела, чуть увлеченная моей горячностью, улыбалась, одобряя участием.

— А ты поедешь? — спросил я.

Что-то вздрогнуло в ее лице, пробежало тенью.

— Я... не знаю...

— Почему? Как это не знаешь?

И я стал убеждать ее. Казалось, она соглашается; я встал, заглянул ей в лицо — и снова почувствовал близость щеки, губ... Но она виновато сказала:

— Куда же мне ехать, если я... если мне...

— Что?

— ... уже девятнадцать лет.

— Девятнадцать? И что же? — с жаром подхватил я.

«



своими губами, и это желание стало таким сильным, что я ощутил, как жар прошел по лицу, а сердце, поднялось к горлу, мешая дышать.

Она, видимо, заметила перемену в моем лице, отложила журнал, отодвинулась. Я сидел, стараясь справиться с волнением, не

Она поглядела на меня странно, взглядом старшей сестры, которая и хотела бы, но не может сказать всего, и сказала только:

— Митя, ты — хороший...

Часы пробили одиннадцать. Она встала, резким движением оправила волосы, будто стряхнула что-то, что цеплялось и никак не хотело отстать, и легко вышла из комнаты.

Я проводил ее до калитки. Ночь стояла влажная, звездная, полная апрельских запа-

хов: пахло вишневым клеем, тополем, прелым листом, оттаявшей землей.

Ее шаги затихали в глубине спящей улицы. Я стоял, слушал их, думал о ней. И вдруг захотелось вернуть ее. Зачем — я не знал. Выбежал за калитку. Вдали, в отсветах фонарей, видна торопливая фигурка, пересекавшая улицу. «Лиза!» — хотелось крикнуть. — «Лиза!» Но она свернула к деповским зданиям, растаяла в темноте. Я вернулся в комнату, сел к столу. Журнал раскрыт на страницах, которые читали вместе. Вот сейчас было: теплота щеки, желание припасть к ее губам...

Я встаю, опять выхожу из комнаты. Ночь обнимает тьмою, влажным теплом. В душе снова поднимается желание вернуть Лизу, видеть ее. Но уже нет ни ее, ни шагов... Все кругом полно чутких шумов и шорохов. Это трава, пробиваясь из земли, прокалывает и шевелит прошлогоднюю листву, а мне слышится: «Иди же! Иди!» Я выхожу за калитку, иду по дороге, которой прошла Лиза, подхожу к зданиям. Вот конторка. Это простой вагон, поставленный без колес прямо наземь. Ярко горят окна. Она там, работает. Но когда подхожу к двери и свет фонаря ложится под ноги, меня охватывает робость. Что скажу ей? Зачем пришел? Она поднимет глаза и опять посмотрит взглядом старшей сестры, которая знает и понимает больше, чем может сказать. Тогда я подхожу к окну и гляжу на нее сквозь стекла. Гляжу и стараюсь запомнить ее черты, взгляд, движение губ, когда она читает наряды. Стою и не могу войти и уйти тоже не могу. А в груди складывается, крепчает чувство, будто натягиваются струны и ждут, чтобы их тронула чья-то ласковая рука.

Наконец отрываюсь от нее, от окна, ухожу и все стараюсь понять: жар лица, радостное чувство в груди — что это? Иду долго-долго, опустив голову, и вдруг замечаю тонкий голубой полусвет. Над степью — яркая полоса. Я смотрю в весеннее небо, спрашиваю, что же это? И рассвет, молодо смеясь, говорит:

— Это любовь. Любовь!

Несколько дней я ходил как в полусне. В груди у меня было большое звонкое чувство, и я знал слово, каким оно называется, и

слово было звонкое — любовь. Я скрывал это слово, как тайну. Даже немного сторонился Лизы, боясь, что она откроет мою тайну.

Но тайны не уберечь, и я сам открыл ее.

Я написал Лизе стихи.

Это были смешные стихи. Не от юмора смешные и не от недостатка чувства; наоборот, чувства было слишком много, оно перехлестывало через край, поэтому и слова были большие, прыгающие и, хотя говорили о серьезных вещах, читать их без улыбки было нельзя.

Я положил стихи ей на столик.

Она, конечно, прочитала их, и, хотя ничего не оказала, я заметил улыбку в ее глазах, а в голосе — чуть больше теплоты.

Она видела, что я люблю ее, видела давно, еще с первых поездок. Это нравилось ей, как нравится любой девушке, и, по-видимому, не больше. Она все-таки была старше на два года, больше понимала и чувствовала. Я же думал, если полюбил, и она меня полюбит. Я мало знал жизнь, был юн, порывист и чуть самоуверен, как многие в этом возрасте. А у нее были свои тайны, заботы. Я этого не знал, она не считала нужным — и не обязана была посвящать меня в них.

История со стихами скоро была забыта. Между нами опять установились ровные дружеские отношения. Я любил ее, и это удивительное чувство захватило меня всего. По-прежнему ездили домой, я встречал ее на вокзале и все так же ощущал теплоту ее глаз, а если они были печальны, переживал вместе ее печаль. Пусть она иногда обращалась со мной, как с младшим, но бывали минуты, когда близость снимала заботы и обоим было слышно, как бьются сердца — ее и мое. Тогда она глядела на меня вдруг углубившимся взглядом и говорила:

— Митя, ты — хороший...

И это звучало так, словно где-то кто-то был плохой и она сравнивала меня с ним и, делая вывод, что я хороший, грустила немного, но с грустью своей ничего не могла поделать...

* * *

А над поселком, над степью голубое и солнечное катилось лето.

По-прежнему утром вздымался гудок, приводил за собой день, полный бодрости и труда. К работе я подходил запросто, любая была по плечу. Старшие уходили в отпуск, мне доверяли работу шестого-седьмого разряда. Приятно было встретить трудность, справиться с нею один-на-один и к вечеру, забив последний шплинт, хлопнуть по-приятельски паровоз по боку:

— Пошел!

...В августе объявили кому ехать на учебу, и через два дня я уехал из поселка, даже не простившись с Лизой: она была в отпуске и отдыхала где-то у родственников.

Сдав экзамены, я прошел на третий курс рабфака при железнодорожном институте в Харькове. И сразу — учеба, комсомол, редакторство: газета — в целую стену длиной...

А из прошлого, из Глубокой, словно тянуло паровозной гарью, машинным маслом, и мускулы томило сладким желанием работать. Как оно близко, прошлое! И там — Лиза. Иногда встанет в памяти ее лицо — так, как бывало, когда подъезжали к станции: набежит прожектор, осветит улыбку, профиль и погаснет, а улыбка, так и останется перед глазами... И опять в груди дрогнут натянутые струны. Это касается их ее рука, Лизы. А почему ей не быть здесь?.. Столько девушек учатся! Вот увижу и скажу ей все-все.

Я увидел ее через год.

Летом работал в техникуме по ремонту здания и лишь в августе на несколько дней удалось заглянуть в Каменск. Узнав, что Лиза в Глубокой, поехал туда нашим вечерним поездом.

С вокзала пошел к Кадариным. Дома оказалась Герасимовна, мать Катерины, старушка, полуглухая, страдавшая застарелым катаррактом глаз. Она сидела на кровати, дремала, может, думала о чем-то своем, прошедшем.

Когда я поздоровался, она, обращая ко мне слепое лицо, спросила:

— Кто это?.. Ты, Митя?.. Приехал, значит, приехал... А Катя на, работе. Ушла-а....

Я спросил, где Лиза.

— Что?.. Не слышу я, не слышу!..

— Где Лиза? Лиза! — спрашивал я.

— Лиза? В клуб пошла... Концерт там,

говорила, какой-то. Концерт!

И пока я прощался и закрывал дверь, она, все так же, повернув лицо в мою сторону, говорила:

— В клуб пошла — там!..

В летнем клубе шел концерт художественной самодеятельности. Народу много, и отыскать Лизу, казалось, не просто. Все же я увидел ее сразу. На ней было голубое платье с брошью, волосы откинута назад, схваченные в тугий узел. Как она красива! И как повзрослела, переменилась! В первый момент я не ошел даже подойти к ней. Глядел на нее, слышал отдельные слова, сказанные подругам, и чувствовал, что-то появилось в ней новое, незнакомое мне. Но что?

Концерт был шумный, веселый. Выступали деповские ребята и девчата. Они хорошо знали всех, и их тоже знали. Когда спела Иванченко Дуся и ей захлопали и, вызывая на бис, закричали: «Иванченко!», я решился, подошел к Лизе, тоже захлопал в ладоши и закричал:

— Иванченко!

Лиза услышала, обернулась:

— Митя — ты?..

— Целый вечер ищу, а нашел — не решаюсь подойти...

— Ах, какой ты... — сказала она и как пожала руку, так и оставила в своей до конца представления.

На танцы не остались, пошли домой.

Ночь была тихая, лунная. Я рассказывал о рабфаке, учебе, о том, что готовлюсь вступить в партию. Она слушала, не перебивая, затихшая, молчаливая.

— Ты слушаешь? — опрашивал я.

— Слушаю, говори...

И я говорил, все мне казалось ясно и просто в жизни — и рабфак, и учеба, и товарищи, не хватало только ее.

— Поедем! — взял я ее за руку.

Она отстранила руку, ничего не ответила.

У калитки остановились. Она прислонилась к забору, молчала. Луна поднялась выше и, как фонарь, освещала ее лицо. Оно было так близко, что я заметил румянец, даже тень ресниц, когда она поднимала взгляд, взмахивая ими. Глаза при луне стали темнее, я смотрел в них и видел горькую недевичью грусть, будто

воспоминание о чем-то, чего вернуть уже нельзя... «Ах, вот что — грусть! — мелькнуло у меня. — Вот новое! И — красива... По-женски красива!..»

Она смотрела, ждала, что скажу еще.

«Красива!..» Но — говорить, надо говорить, что решил!

— Лиза... я думал о тебе и, видишь, приехал...

Она все смотрела, ждала.

— Поедем вместе... Ведь я, Лиза!..

Ее глаза, казалось, придвинулись, глянули с отчаянием, не скажи я всего — брызнут слезами. И я сказал:

— Я люблю тебя!

Ресницы упали, смахнув влажный блеск, а я, взяв ее руку, говорил:

— Я люблю тебя, люблю!

— Митя!..

— Поедем!

Она высвободила руку, заговорила тихим, срывающимся на шепот голосом:

— Я... не такая... какую ты любишь. И уехать не могу!



— Лиза!

Но она, толкнув калитку, пошла через двор, — опустив плечи, словно несла что-то тяжелое.

— Лиза!.. — крикнул я еще раз.

Голос растаял в тишине ночи.

Я уехал с тяжелым сердцем. Все осталось невыясненным, непонятым. А понять было нужно, необходимо. Любит другого?.. Становилось стыдно: отвергнут, как мальчишка. Может, сказал не так о своей любви?..

Тысячу раз припоминал встречу, весь разговор. «Не такая...» Почему не такая? Пусть новая, пусть красивая, но для меня-то — Лиза!..

Стояла в голубом платье, с большими недевичьи грустными глазами, с тенью ресниц, дрожавших над темной влагой зрачков... Знал — так и останется, с этой новизной, обаянием, которого не видел прежде или проходил мимо не замечая.

Я написал ей письмо, на дом, в Каменск. Ответа не было. Тогда в январе, на каникулах, поехал в Глубокую сам.

Зима, деревья в инее; веселая переключка гудков. Скрипит под ногами снег. С вокзала иду к Лизе.

Дверь. Знакомая до каждой щели, царапины. Вспомнилась августовская ночь. Может, судьба переменится?.. А разве есть у судьбы дороги вспять?

Стучусь в комнату. Два голоса — Лизы и Катерины:

— Войдите!

Здороваемся тепло, как прежде.

Лиза одета. Собралась на политзанятия.

— Пойдешь, Митя? По старой привычке?

Снова скрипит снег — под двумя парами ног, ступающих близко-близко: идем об руку. Как легко дышится на морозе! Полной грудью! Придерживаю, а мне кажется — несу ее бережно; как ребенка, куда-то вдаль, ввысь, навстречу звездам, которые кружатся над нами. Даже сквозь пальто ощущается тепло ее руки... Как это хорошо — любить!

Занятия промелькнули минутой. Возвращаемся медленно, шаг в шаг.

Снег искрит под ногами, и сквозь рукава опять ощущается тепло руки. Я гляжу на ее профиль, ближе — в глаза. Синие звезды отражаются в них морозным блеском. Это новое настораживает. Спрашиваю:

— Почему нет тепла в твоих глазах?

— Митя, ты ничего не знаешь! — смеется она.

— Нет, знаю, — говорю я.

— Что?

— Я люблю тебя.

Она перестает смеяться, идет молча. Так доходим до дома.

— Ты зайдешь?— спрашивает она.

— Зайду.

Катерина ушла на дежурство, старенькая бабушка дремлет. Лампа прикручена. Лиза поднимает фитиль. Проходим в ее комнату. Она подает стул, сама садится на кровать. В доме тихо.

— Митя, я скажу тебе новость.

— Какую?

— Скоро я уеду отсюда... Совсем,

— Учиться?

— Нет... Не угадал.

Я смотрю ей в лицо. Она отворачивается, хочет и не решается что-то сказать.

Проходит минута. Наконец спрашивает:

— Правда, красивая фамилия — Нарцисс?..

— Нарцисс?..— невольно сравниваю фамилию со своей: сравнение не в мою пользу...— А кто это?

Она молчит, и теперь я опускаю голову надолго...

За окном стоит ночь и какая — холодная, бесприютная! Кричат гудки, голые звуки бьют в стекла, словно просят погреться... Я молчу, хотя сказать хочется многое. Так и прощаемся. Она пожимает руку с благодарностью. Понял и я: лучше кончить так и остаться другом.

Но кончилось по-другому.

На следующий день я опросил у Тимки Яркова (он был в отпуску и отдыхал дома, в Каменске):

— Ты, случаем, не знаешь, кто такой Нарцисс?

— Женька?..— переспросил он, копаясь в самодельном приемнике.— Здорово же ты... оторвался... как надел мундир, с пуговицами... Что он — Нарцисс? — продолжал, действуя отверткой.— Забудыга, скандалист... Каждый вечер на катке, можешь посмотреть. Работает где-то в торговле... В общем — личность невыясненная. А тебе зачем?

Я не ответил, но пойти на каток согласился.

В пять часов мы опускались к Донцу, где в огнях, осколком литого стекла блестел расчищенный лед. Вечер был субботний,

кружили пары. Пока надевали коньки, мимо скользнула ватага подвыпивших парней. Взяв разгон, они схватились за руки и потянули «бредень». Сразу в «бредень» попало несколько девчат. Поднялся визг, гогот пьяной компании, кто-то упал, другие споткнулись об упавшего. Со стороны взвода спешила группа дежурных комсомольцев. Мы присоединились к ним. Когда подъехали, там уже разгорелся конфликт. Перед грузным, толстомордым парнем стояла невысокая девушка и, держась за щеку, возмущенно кричала:

—Я тебе, сволочь, так поцелую, что губы вспухнут выше носа! Напился, хам, так иди проспись, нечего слюни распускать! Целоваться лезет!..

Парень, играя наглыми, навывкате, глазами, лениво растягивал слова:

— Брось, Танька, раскричалась...

— Я тебе не Танька!— кричала девушка.— Танька семечками торгует... Другой раз сунься — так взгрею, не посмотрю, что такой... дубина!..

—Хотел видеть — Нарцисс! — сказал Тимофей. — А Таня — работница промартели. Эта даст сдачи...

Рядом с девушкой оказался парень в лыжной куртке:

—Ты что? — поднял он голос.— Пьяный? Очисти площадку!

Нарцисс, почти не глядя, выбросил руку, сбил парня с ног.

—Кобеля привела? — крикнул он Тане.— Забыла, как обжималась?

Таня отшатнулась. Мысленно поставив, на ее место Лизу, я рванул к Нарциссу:

— Как ты смеешь?..

— Кто такой? — обернулся он ко мне.

— Как ты смеешь? — повторил я.

— Студентик!..— двинулся он ко мне.— Тоже в защитники лезешь?.. В харю — хочешь?

Меня обожгло, ослепило. Ничего не видя, я ринулся на него с желанием разбить, раскровянить это жирное, пьяное лицо с наглыми глазами... Кулак опустил на что-то теплое, мясистое, но меня дернули, схватили за руки, увели.

—Негодяй! Какой негодяй!..— порывался я назад.— Как можно быть таким негодяем?..

Утром я уехал в Глубокую.

Надо было увидеть Лизу, сказать ей... Но что сказать? Подрался с Нарциссом? Он поцеловал другую?.. Но кто я такой, чтобы докладывать? И как она посмотрит на это?

Весь день бродил по корпусам депо, виделся с друзьями, с мастером Аликаном Захаровичем, приглашали заходить. А я все думал, как поговорить с Лизой, не оскорбив, не ранив ее душу. Что общего у нее с Нарцис-

горе. Пить буду...

— Садись вот — чаю с малиной. Успокаивает... Сам выращивал, сушил, — говорил он, наливая в чашку красный душистый напиток. — А водку — любой дурак...

— Я и есть дурак, самый, что ни возьми, задубелый!

— Не лотоши, постой. Говори по порядку!

Я рассказал все, от первой встречи с Лизой до сего дня. Аликан Захарович подождал: не прибавлю чего...



сом?.. Что бы я ни делал в этот день, я не мог вычеркнуть из памяти жирное лицо, пьяный крик: «В харю — хочешь?»...

После гудка я пошел к Лизе и рассказал ей обо всем.

Ее лицо побледнело, покрылось пятнами и в то же время — как я все-таки мало знал ее! — приняло выражение упрямства, отвращения.

— Ты... — она подняла сузившиеся от гнева глаза. — И ты пришел оказать мне это?.. Ты просто завидуешь!.. Митя!.. Уходи! Уходи сейчас же!

Так и ушел я, унося эти гневные слова.

Взяв две бутылки вина, закуски, я направился к Аликану Захаровичу.

Бригадир заканчивал обед, пил чай из большого блюдца, держа его на расставленных пальцах. Увидя, как извлекаю из карманов бутылки, свертки, поставил блюдце, спросил:

— Это ты с какой радости?

— Не радость у меня, Аликан Захарович, —

— Вот и пришел... с горя.

— Горе твое, Митрий, — не горе! — звякнул он чайником. — Сколько тебе? Девятнадцать?.. Встретишь другую...

— Другую?.. Аликан Захарович! Не будет другой! Никогда!..

Бригадир поглядел на меня, сдвинул в сторону блюдце, чашку.

— Значит, это серьезно у тебя? Что же будем делать?

Я молчал. Разве я знал, что делать. Аликан Захарович заговорил в раздумье:

— Лиза — хорошая девушка. Кажется... что-то свое носит за душой... Самостоятельная. Помню, ребята, выпивши, пригласили на вечерку, что ли? Она так глянула, знаешь, своими серыми, — хлопцы сразу потеряли задор, завяли... А Нарцисс... Не знаю такого. Может, приезжий. С наглцей, говоришь? Грудь вперед?.. Да, таких любят...

— Любят... — уныло подтвердил и я.

— Хнычешь?.. — вспыхнул вдруг Аликан Захарович. — Может, сопли утереть?.. А ты

что сделал для своего счастья? Уезжал, приезжал, объяснялся — любишь!.. Любовь — это жизнь. За нее и драться как за жизнь надо! — Я ж дрался...

— По морде пошляку? Умненько!.. Рабочий, студент... Ты понять ее старался? Душу раскрыть, навстречу себе повернуть? Что сделал, чтобы она доверила тебе жизнь, всю себя?.. А ты — по морде... Руки вымой!

Таких слов мне не говорил никто. Я чувствовал за ними большую правду и сам себе казался маленьким, пристыженным. Неужели я действительно такой ничтожный? Даже перед тем, толстомордым?.. Душа рвалась, протестовала, а человек, коммунист, продолжал говорить сильные строгие слова:

— Сердце человека понять — вот важно. Да и свое, чтоб горело. Будет гореть — дорога светлей станет, к свету люди потянутся, вслед пойдут... А теперь — что? Времени все отдать. Пыль осядет, прояснится. Лиза сама поймет, где любовь... Любишь — люби, это хорошо. Время и тебя проверит. К людям приглядывайся. Водку вот принес... Кончишь учебу, счастье завоюешь, — не говорю найдешь... под ногами не валяется, — тогда и выпьем. А сейчас — не обессудь, не буду...

И уже у дверей, провожая, смягчился, сказал душевно:

— Жаль, хорошая девушка... И ты не фыркай. Пиши ей, зови с собою. Ты все-таки на правильном пути. А любовь — она прощает... Если настоящая.

* * *

Закончив рабфак, я поехал в Ленинград, в университет. И оттуда написал Лизе второе письмо. Просил откликнуться, написать хоть строку. Письмо опять направил в Каменск.

И ответа опять не получил.

Затем — война.

Буря бросила меня на север, четыре года кружила по фронтам Заполярья. Потом я задержался в Петсамо, ожидая демобилизации, и лишь осенью наш эшелон потянулся на юг.

В Ленинграде остановились на день. Город жил; еще многого не хватало, но в по-

ходке, во взгляде ленинградцев было столько решимости, что, казалось, скажи — и они вскинут на плечи, понесут и поставят, где надо, любой дом, улицу...

Побывал я и на своей студенческой квартире. Мне были рады, засыпали новостями, разговорами. И здесь я испытал то же настроение, то же ощущение счастья. Мне было хорошо, несколько часов я провел как в родной семье. И, как это случается, за своим большим счастьем люди едва не проглядели: маленькое, чужое.

Уже опускался по лестнице, когда услышал за собой торопливые шаги и голос:

— Митя, тебе же письмо! Столько ждет!..

— От кого?

— Вот оно, возьми!

В сумраке лестницы нельзя было разобрать надписи, и я держал письмо в руках, пока не сошел вниз. Когда же поднял к глазам — желанный почерк Лизы: Ленинград, 7-я линия... Дмитрию...

Письмо — всего несколько строчек:

Здравствуй, Митя!

Мне трудно писать, и если пишу, то из сознания, что ты прав. Я стыжусь своих слов в ту, последнюю, встречу. Все было ошибкой, и я тяжело поплатилась за это. Твои письма попали ко мне случайно. Если ты прежний и любишь меня, приезжай.

Жду в Ростове.

Лиза.

«Любишь меня... любишь меня... — повторял я. — Любишь...» Люблю!

Все, что было потом, слилось, сжалось в одном слове — скорее! И, как нарочно, все шло по-черепашьи: медленно тянулись часы, медленно стучали колеса, плыли за окном станции, города,

В Москве я пересел на прямой ростовский поезд. Оставалось полтора суток. Всего полтора суток!

От Воронежа замелькали знакомые станции: Россошь, Чертково, Миллерово... Приближалась Глубокая.

Нет сил усидеть на месте, выхожу в тамбур — распахиваю дверь. Ветер летит навстречу, стук колес — такой знакомый, родной на этой знакомой дороге:

— Та-та, та-та! Та-та, та-та!

И вместе с ним приходит, становится рядом прошлое.

...Серые, полные грусти глаза. Нет, нет, грусть — это потом... Сначала вошла девушка, подала руку: «Лиза. Татьянченко...» Затем поездки: вот так же настезь дверь, стучат колеса, она близко, дыхание возле щеки... Потом тихие, тихие улицы, а в душе улыбка, блеск ее глаз...

Впереди — огни станции.

Дальше, дальше!.. Апрельский запах тополя... яркие девичьи губы... так хочется прильнуть к ним своими губами. И — во весь горизонт — радость рассвета: «Это любовь. Любовь!»

Поезд врывается в поселок. Оглушительно, сбиваясь с ритма, стучат на стрелках колеса. Нетерпеливо спускаюсь на ступеньки. Рельсы, как молнии, мчат навстречу, бегут рядом, отлетают в сторону, словно поезд отбрасывает их прочь; боязно: прыгнет на землю и пойдет рвать колесами щебень и шпалы... Проплывают угольные склады, деповские тускло освещенные здания. И вдруг — вагончик без колес, прямо на земле! Яркие, яркие окна!..

Шипят тормоза. Здесь, как и прежде, меняется паровоз, стоянка двадцать пять минут. Соскакиваю. Может, кого встречу?.. Вокзал в развалинах, рядом — времянка. Люди, лица, все незнакомые, чужие...

Конец платформы, дальше — поселок. И через улицу — старый дом. Его не видно, но он — там!.. Ноги несут сами. Огни — они только на станции — остаются позади. Дороги не видно, ведет сердце. Вот изгородь, калитка... Шаг, и — дверь, знакомая до последней щели, царапины... Стучу. Тишина. Стучу настойчиво. Шорох — в сенцах открылась дверь. Голос Катерины:

— Кто там?..

Кто здесь? Да, кто же здесь теперь? Митя? Нет, давно не Митя... Дмитрий Николаевич? Такого не было, не знают... А настороженная пауза длится, длится; боюсь, что дыхание за дверью стихнет, Катерина уйдет, отвечаю:

— Это я...

— Кто? — в голосе тревога.

Я опять боюсь, что дверь не откроется, объясняю торопливо:

— Катя, помнишь... двое ребят — Тимофей и Дмитрий. Так это я, Митя.

— Митя! — голос полон удивления, радости, — Митя! Я сейчас, сейчас...

Слышно, как руки шарят, ищут засов... Да что им искать? Не знают, что ли?..

А голос все повторяет:

— Я сейчас...

Наконец засов подался:

— Заходи, Митя...

— Не могу, я проездом... поезд на станции меняет паровоз...

— Ах, как же ты! Постой, оденусь...

Жду. В доме шорохи...

Выходит в наскоро накинутом платке, пальто.

— Откуда ты?

— Еду с севера... В Ростов... к Лизе. Вот письмо...

— К Лизе? Ты все такой же...

Я улыбаюсь, знаю, во тьме она не видит улыбки, но, наверное, чувствует мое счастье.

— Митя, — спрашивает она, в голосе дрожит тревога. — Ты все знаешь?..

Я не пойму тревоги, не хочу понимать, а Катерина настаивает:

— Ты все знаешь, все?..

— Да что, говори!

— Ты любишь ее?..

— Зачем же я здесь?

— Будешь любить?..

— Катя...

— У нее... ребенок, Митя... девочка...

— От... Нарцисса?

— Да...

На миг перед глазами рельсы, как видел только что: разбегались, сбегались у стрелок вновь, и непонятно было, по каким пойдет поезд, вдруг — на занятый путь?.. Все разобьется, рухнет... Но поезд шел правильно, И я говорю:

— Расскажи...

— Пойми правильно, Митя!.. Трудно ли обмануть девушку... Взять силой... Он такой...



Ты не понял и не мог бы понять тогда. Она видела это, страдала. Он был в армии, вернулся. Лиза пыталась наладить жизнь.

Потом разошлись.

— Когда?

— В сороковом... И с тех пор ждет тебя... с дочкой...

«С дочкой»...— слово будто толкнуло сердце и осталось в нем. Дочка! Думал ли когда-нибудь об этом, Дмитрий!..

Там, на станции, где горят фонари, проходила большая сложная работа. Прежний утомленный пробегом паровоз отошел на запасные пути и отпыхивался, поблескивая потными боками. Из депо вышел новый, звучный, и торопливо побежал к вокзалу, бросая в небо пухлые клубы пара. Слышно, как толкнулся в упругое тело состава и осторожно, вполголоса, вскрикнул, давая знать, что к работе готов.

Опробовали тормоза. Бойко, четко запыхтел насос, пополняя убыль выброшенного воздуха.

— Что же ты молчишь? — спрашивает Катерина.

— Я люблю ее.

— Любишь? А я... все одна...

Катерина поднимает, лицо, на ресницах слеза, будто впитала и держит блеск дальних огней. О чем?.. Может, поняла любовь моего сердца, счастлива счастьем Лизы, которая была ей как сестра? Может, кольнула боль, что она, Катерина, так и не дождалась своего счастья?..

Я долго гляжу в них, в эти глубокие тоскующие глаза, потом оборачиваюсь и иду со двора.

И снова стучат колеса. За окном пролетает ночь. Ветер выхватывает искры из трубы паровоза, гонит в степь, да где-то далеко-далеко в промелькнувшем селении теплится тусклый, дрожащий огонек. Мигнет и — пропал надолго, а потом опять, опять искорка!.. На что надеется? Придет рассвет, его могучий брат, и они вместе победят и прогонят ночь?..

Опять выхожу на площадку вагона. Стою час, другой и жду. Чего? Жду рассвета.

Он приходит, светлый и радостный друг, плечом раздвигает тучи. Дышится легко. И в душе переплелись и живут уже две любви. Одна большая, пронесенная сквозь годы, другая маленькая, слабая, как ночной огонек, любовь к дочке. Но и эта любовь растет и светлеет, как новый день. Это огромно — две любви! И хорошо: ведь любить — это хорошо, это навсегда!